

КРАЙ БУНИНСКИЙ. ВЕК СПУСТЯ

Записки с родины Бунина.

Я далёк от мысли давать оценки явлениям... Просто на бумаге – остановленные минуты из четверти века моей жизни на той же земле, где жил Иван Бунин, в двух верстах от Озёрки, его родового имения. Просто записи той жизни, что ещё теплится в тех же деревнях, о которых записи в его дневниках. Просто жизнь рядом с потомками тех мужиков и баб из его «Деревни», из его рассказов и дневников. Иногда – нечаянное сравнение той и нынешней жизни. Но это потому лишь, что вспомнится вдруг бунинская строка, когда сама нынешняя жизнь и природа напомнят о ней, и поразишься и точности его наблюдений и собственному чувству остановившегося времени, длина которого – век.

Здесь, на бунинской родине, всё те же восходы и закаты. Но жизнь движется неостановимо и уже безвозвратно, к тем пределам, за которыми – запустение, забвение самих следов той человеческой жизни, что текла здесь почти пять веков. Пройдёт ещё полвека, и силы природы вернут всё к тому девственному состоянию, что было до заселения этих благодатных, соловьиных, чернозёмных, многолюдных мест. Не простого заселения, а возвращения Руси этих исконно русских земель – с кровью, жертвами и усилиями невероятными. Господи! Чего только не было здесь ещё полвека назад, до того – совсем близкого к нам – исторического рубежа русской истории, который не отразят никакие страницы учебников, но для любого русского человека, корнями исходящего из почвы, знаком, как безвозвратный исход-погибель русской деревни. И тяжкий крестьянский труд, и жизнь, и песни, и любовь, и незамутнённый, не испохабленный городом, чистый русский язык. Было... Всё было здесь. Остались – трогающие душу живые крохи той жизни и языка да гнетущие её до сердечной боли и скорби следы той самой жизни, известной нам по страницам бунинской прозы... Стоит лишь пройтись дорогами Бунина – и наполнится любовью и скорбью к этой земле наше сердце.

Места бывшего Елецкого уезда, называемые сегодня «Бунинской Россией», и в давние-то времена Российской империи лежали вдалеке от больших дорог, а уж теперь, когда границы прежних уездов и губерний перекроили, и вовсе стали окраиной трёх областей – Орловской, Тульской и вновь образованной Липецкой – край и вовсе глухой, тихий, потаённый, бездорожный. Из уездных земель Предтечевской волости Елецкого уезда единая бунинская земля административными преобразованиями превратилась в Становлянский и Измалковский районы Липецкой области. Эти заросшие буйным, замуравленные дороги помнят бунинские прогулки, так любимые им в летние и осенние вечера, когда он, то на дрожках, то пешком, неспешно объезжал и обходил окрестные деревни, беседовал с мужиками, вслушивался в их речь и рассказы.

Вчитаешься в Бунина, и вдруг словно обожжёт прозрением: в строках прозы – о деревне особенно – Бунин до изумления современен. Не спасают даже «яти» и «еры» в издании 1915 года. Всё та же гибнущая деревня. Картина исхода части крестьянства в город и образ покосившейся, вот-вот, со дня на день готовой упасть деревни – не сегодня написана, а ровно сто лет назад. А угол наклона падения деревни, оказывается, за сто лет ни на градус не изменился! Что же это за загадочное падение? «...Россия? Да она вся – деревня, на носу заруби себе это!» (И. Бунин., т.3, стр. 76, повесть «Деревня») И странно, загадочно после этого даже не само падение, а этот неизменный угол падения. Но... уж, кажется, сегодня-то как раз и всё: пресса ставит ей подножку, а телевизор –

прямо по голове! – и она точно упадёт... При Бунине так поступали разные «сициалисты». Да куда им до нынешних СМИ!

Беспристрастная официальная статистика, опубликованная несколько лет назад, показывает: число деревень в местах бунинских со времени его последнего отъезда из Глотова в ночь на 25 октября 1917 года сократилось втрое. А проедешь по этим благодатным чернозёмным местам, и увидишь, что людей ubyло не втрое, а несоизмеримо больше.

* * *

Места, на которых стоят елецкие деревушки, удивительно хороши, – высокие, открытые. Неба над ними много, его здесь больше, чем самой земли; со взгорков и верхушек полей видно, что земля с небом сходятся не сразу, сближаясь за тремя-четырьмя дымчатыми горизонтами. Возраст здешних деревень измеряется четырьмя веками; редкие из них – помоложе. И всё, казалось бы, в елецких окрестностях одно и то же: высокий чернозёмный увал, на нём – поле, с которого по горизонтам щетинятся верхушки чернолеса, стекающего в овраги, которых здесь – сотни. У этих оврагов, по-здешнему «верхов», редко с небольшой речкой, петляющей по их дну, а чаще – суходолов, перепруженных несколькими плотинами, стоят, глядясь друг на дружку и в зеркала прудов, низкие домишки. Длинные кирпичные стены их щурятся на мир маленькими оконцами. Всё те же повсюду кущи садов за домами, за ними – чёрные полосы картофельных полей, тянущихся к далёкому усадебному валу, обсаженному акатником, ветлами и грушами. Всё те же пологие выгоны перед домами с белыми строчками гусей, идущих с пруда, крутолобый бык с задумчивыми глазами или остроглазая коза, привязанные у теряющихся в бурьянах серых колеистых дорог. А вокруг этих непреходящих признаков жилья – поля, поля и поля, разделяемые берёзовыми и дубовыми полосами – аллеями. И, несмотря на этот однообразный набор, нет здесь ни одной одинаковой деревни.

Не хуже других и моя деревушка, – тихая, далёкая, два века назад осевшая у прудов тремя порядками домов – выселками из соседней, умершей теперь деревни, принадлежавшей когда-то Буниним. Порядки эти за последние полвека становились всё реже, остарела деревня от уходящей из неё жизни. В дни того исхода из деревни мы будто бы нашлись с ней, как находят друг друга люди осеннего возраста. Не от безысходности, а по душевному влечению. Привёл меня сюда Бунин – и сам он, и его проза, оказавшиеся для меня, родившегося и жившего на Волге, неразделимыми с той самой минуты, когда, взяв в руки томик Бунина издания 1956 года, словно и не прочёл, а по следам строк изумительно чистой, осязаемой прозы, сам вошёл в этот удивительный мир далёкой осенней деревни, пахнувшей антоновскими яблоками и прелой листвой, с садами, пронизанными низким предзакатным солнцем. После двух десятков лет запустения вошла жизнь и в мой, брошенный и полуразрушенный дом, безнадежно и обреченно умиравший в глухом бурьяне на пригорке под шемящие душу, томные песни соловья. Свёл я бурьян, освободил его от непролазных кущ задичавшей вишни и малины; приоткрывшись, забелели – заневестились его стены. От возрожденной, выбеленной печи стал он наполняться жилым духом, изгоняя многолетний тлен.

В холодные ноябрьские вечера, когда стоишь и смотришь на деревню с редкими огнями над остывшими прудами, а за спиной жёлто светятся его маленькие оконца, грустно и радостно осознаёшь себя в этом – пусть маленьком, но преображённом мире деревни.

* * *

Дом, даже если он не брошен, а лишь оставлен мною надолго, заполняет сердце чувством вины, когда вхожу я после спешной разлуки с ним в тёмные сени, нерешительно переступаю порог вслед за обиженно скрипнувшей дверью с вырванным пробоем. Прохладный, несмотря на уличное тепло, отсыревший, безжизненный воздух избы насыщен запустением и следами побывавших в нём воров. Грязный пол с изломанными соломинками и кусками ссохшейся грязи с каблуков, голый матрас со свалывшейся подушкой, сор с потолка на столе. И над всем этим – тучи гудящих мух, позвякивающих о стекло лампочки и раскачивающих её, наполняя избу качающимся светом и мелькающими тенями. Обезумев, они со стуком падают на пол, влетают в волосы и, запутавшись в них, тревожно гудят. И только проведённый в доме день с развешиванием на воле постели и выветриванием из неё затхлого мёртвого воздуха, мойка пола да вечер у печи с огнём: сначала тихим и тревожно-дымно вздрагивающим, а потом весело разговаривающим, примиряют меня с домом. Окончательно успокоившись, мы оба словно засыпаем под стук дождя и ходиков на стене. Стены подсохли, но хранящаяся в них прохлада разлуки, медленно уходящая в глубь их кирпичной плоти, напоминает последние короткие всхлипы ребёнка, засыпающего после разрешённой обиды.

* * *

Не всякая обида забывается, есть и невозвратное, необратимое словно смерть. Она и остаётся в памяти остро-незабываемой. Четверть века назад, объезжая бунинские места под Ельцом, заехал я в Колонтаевку. Ту самую, где любил бывать Бунин, прогуливаясь по окрестностям Глотова. В ней, за разросшимися, задичавшими садами, стояли дома, тогда ещё почти все целые, но пустующие. Стены их по скудости в здешних местах строевого леса и из-за вечной крестьянской бедности были сложены из поленьев на глиняном растворе, словно из кирпича, крестовой кладкой, оштукатурены и выбелены снаружи и изнутри извёсткой. У домов – треснутые оконные стёкла, открытые двери, на крыльцах – трава, пробивающаяся в щели досок.

Пыль, запустение, брошенные столы в избах, фотографии и письма в рамках. А на крыльцах – дорожки снующих муравьёв: от муравейника во дворе и куда-то внутрь дома, отчего выжженные солнцем и вымытые дождями доски крыльца кажутся костями дома, тускло, мертвенно и мутно глядящего на мир пустыми глазами окон. С крыльца одного из домов виден сруб колодца с редким для этих мест журавлём, коровьи следы в болотистой низине у пересыхающей речки. За низиной, в которой потерялась речка – противоположный берег, крутой и кочковатый от кротовин, монотонно заросший травой без единого предмета, указывающего на величину пространства. Всё тихо, безлюдно, странно в своей пустынности. Место, где совсем недавно обитали человеческие страсти, сегодня – труп деревни.

* * *

Год 1996. Польское. Деревня в позднюю осень. Вместе с ней какая-то осыпавшаяся и увядшая... Неделю живу один. Утром – заготовка дров, топка печи, недолгая прогулка за водой, стряпня. Короткий день едва умещается между поздним рассветом и ранними сумерками. Сердце медленно окутывается тоской... Два последних дня тоска была столь невыносимой... Пропало желание есть, читать, копаться в собственных мыслях. Надо двигаться!

Беру ведро, нож, надеваю сапоги и иду за «калду» в сосновый лесок... Ветер толкает в спину, по пути срезаю грибы в межевых лозинах. Одиноко, но странные мысли: только бы ни с кем не встретиться. За деревней – серые холмы за тремя горизонтами, пустые сиреневые базы, как скрученные выветренные кости. А вот и кости среди былинных камней. Что за сила занесла с далекого севера эти громадные валуны, вросшие в задернованный чернозём и обросшие замшевым сиренево-серым мхом? Со склона ближнего холма звучит органнй гул сосен; за ними, за долиной – берёзово-дубовый колокол с буро-рыжими клубами неопавших дубов. Ветер, дубовый дым, бесконечные холмы – первозданность во всём. И Бунин сто лет назад всё это видел здесь же, в такое же осеннее ненастье. Что-то чувствовалось ему?..

1917 год. Глотова

«...Вернулись из Скородного...»

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, даёт отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, – рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, – совсем неизвестные мне, – только смутные образы, только моё воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого...

Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую свежесть, в одной рубашке – необыкновенно приятно, но почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Всё дождь – до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться....

В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зелёно-жёлтого света.

Опять прошёл день. Как быстро и как опять бесплодно!»

До Скородного отсюда – рукой подать: четыре версты, до Глотова – Васильевского семь. Вот за тем увалом, что вижу в западное окошко своего дома. По верхушке бугра щетинится дубовая лесополоса.

Васильевское... В нём родные — Пушешниковы, старая усадьба, такие же длинные осенние вечера, лампа на рояле, сырой южный ветер, шумящие тополя, долгие прогулки, те же, мало изменившиеся окрестные виды, озябшие руки, разговоры с мужиками, затем пешее возвращение из Осиновых Дворов через Польское. Обернувшись, бросил взгляд на его свинцовые пруды. После – домашнее тепло, рюмка водки за обедом, затем – долгие разговоры о литературе, мужиках, Москве, Петербурге, столичной жизни. Так что же изменилось?

Такая же неспешная зябкая прогулка по той же дороге, вечер в избе знакомого художника, разговоры – тоже на те же темы. Тот бунинский октябрь 1917-го и мой нынешний октябрь 1996-го – и ничего не изменилось! Те же нерешённые властные проблемы. О, rus! О, Россия! А завези сюда какого-нибудь немца! – свернёт, затянет его наша жизнь под переборы гармони соседа Афони и гулкой стук по его, крепкой ещё груди. Что в нём, в несмолкающем грохоте груди под кулаком русского мужика, – вековечная тоска, жалоба или гордость – ничего он, немец, не поймёт. Да и что понять ему здесь, в глухой России? Тоска, вековечная чернозёмная грязь, беспросветный труд. Но ещё – и разговоры об этом в коротких перерывах между рвущими душу песнями за невероятным для европейца столом: с салом, соленьями, выпивкой под мочёные яблоки, мёд, яичницу, селёдку и прочее и прочее среди бескрайнего, безграничного, необъятного простора. Так что же изменилось за эти сто лет? Всё те же двадцать вёрст до ближайшей станции, всё о том же чешет затылок русский мужик среди этого ветхозаветного бездорожья: был бы дождь вовремя, да ведро, да не было б войны...

Возвращаясь назад с двумя рыжиками, продрогший, стукнул в окно Афоне. «Афоня» – так называет себя сам Афанасий Иванович Матюхин – крепкий семидесятилетний мужик, потомственный крестьянин, полжизни проживший в городе и вернувшийся после выхода на пенсию в родные места. Кроме бесконечного ежедневного крестьянского труда есть у него, пожалуй, главное в жизни дело и призвание – вместе со своей любимицей-гармошкой он – главный герой на свадьбах, что гуляют по окрестным сёлам и городам от Орла до Тамбова и от Воронежа до Тулы. За непревзойдённое мастерство и натуру истинного артиста слывет он лучшим гармонистом России. Сдержанно, но приветливо протягивает он свою ладонь, в которую может спрятаться двухсотграммовый стакан. Увидев вышедшего хозяина, к крыльцу подходит петух. Всё, что за этим последует, мне давно известно, но по-прежнему интересно. – Пе-е-етя... – вкрадчиво говорит Афанасий и наклоняется к петуху, протягивая к нему руку. Петух выпрямляется в струнку и, кажется, становится на цыпочки. Голова его наклоняется набок, глаз округляется.

– Пе-етя, Пе-етечка... дорогой, иди суда, щас мы с тобой подерё-е-омса.

Рука Афанасия с согнутым, как клюв, толстым указательным пальцем, теперь и не рука вовсе, а настоящее петушиное оружие, поэтому петух, нахохлив перья, становится в боевую стойку и начинает подпрыгивать на месте. Соперник, делая короткие выпады рукой, раззадоривает:

– Давай... давай. Ай-молодец! Молоде-ец...

На каждый выпад руки петух прыгает, хлопает крыльями и, чуть не падая на спину, пытается ударить палец костяными шпорами ног, шишковатыми, напоминающими шкуру динозавра. Один из ударов Пети достигает цели: из разбитого пальца капает кровь. В голосе Афанасия звучат нотки примирения:

– Ну молодец... Пе-етя. Хороший Петя, хоро-оший.

Он выпрямляет спину, убирает «клюв»-палец, достаёт из кармана фуфайки горбушку. Взъерошенные перья петуха медленно опускаются. Представление, однако, только начинается. За первым номером деревенского цирка сейчас же следует второй в исполнении того же артиста. В зубах у дрессировщика кусок корки, и он продолжает хвалить петуха сквозь зубы, успокаивая его и подготавливая к номеру:

– Хэрэший Пэтэ, хэрэ-эший...

Афанасий вновь наклоняется к петуху, который на всякий случай вновь топорщит перья, но миролюбивый тон и медленные, спокойные движения обезоруживают его. Он подпрыгивает и садится на руки Афанасия. Обнимая петуха и глядя его по голове, словно кошку (при этом пернатый потомок динозавров действительно закрывает глаза), он подносит к клюву зажатую в зубах корку. Петух клюет и, проглотив в два приёма всю корку, перебирается с Афониных рук на его спину. Громкое хлопанье крыльев и следующий за этим победный крик не оставляет сомнения: петух победил!

Народный артист, довольно усмехаясь, идёт в дом. Везде: на веранде, в сенях, на-и-под кроватями, на шифоньере, столе и сундуке – повсюду стоят гармошки: хромки, рояльные елецкие, ливенские и «Любительские», «двадцать пять на двадцать пять», саратовская и даже детская в десять кнопок. Из этой горы музыки извлекается елецкая рояльная; с ней, пробуя гармошкин голос, выходит Афанасий на крыльцо. На фоне синей застиранной фуфайки, в громадных ладонях потомственного кузнеца, каждая из которых закрывает всю клавиатуру, гармонь кажется крохотной, способной издать звук не громче воробьиного чирикания. Но вот Афанасий пропустил левую руку под ремень, перевернув гармонь, привычно вставил большой палец правой руки в ремненное кольцо медного ползунка и потянул меха... Гармонь выдохнула громкий чистый звук, похожий на голос счастливой молодухи, за которой два года ухлёстывала вся деревенская округа, а замуж вышла по любви за ухаря-гармониста. Звук взлетел, ударившись о кирпичную стенку дома, и, отразившись,

перелетел через огород, вспаханное поле и заблудился между осин и берёз поднимающегося за логом леса. Это был переход ко второму отделению.

Из будки, гремя цепями, немедленно выскочили два мелких кобеля.

– Ну что, – обратился к ним Афанасий. – Споём? – и растянул меха. Собаки сели и, задрав морды с закрытыми от удовольствия глазами, дружно завыли, заскулили, точно подбирая взятую ноту: «Ау-у, ввы-ы-ы-э. У-у-у-э».

– Вот это молодцы! – похвалил гармонист, успокаивая собак, продолжавших петь уже без музыкального сопровождения. – Ну всё-всё-всё, хватит.

Бросил певцам разломленную надвое оставшуюся корку. Собаки на лету схватили хлеб и проглотили его, покрутились на месте, проверяя, не упала ли где крошка, и забрались в тепло конуры.

Разминая пальцы и пробуя голос гармонии, Афанасий пробежался по клавишам. Весело, чисто, замысловато зазвенели переборы «Матани», но... Такому артисту нужен кураж, публика. Но публики маловато... Оглядев за домом Афонины палестины, вижу за оградой сада, между голых деревьев три десятка разноцветных ульев.

– А что, Афанасий Иваныч, – говорю я после того, как он сдвинул меха. – А ведь не май месяц! Пора бы ульям в омшаник.

– Да надо бы... – тянет Афанасий Иванович. – Колька третью неделю не едет, – с лёгкой досадой на сына говорит он и добавляет: – Приедет, тогда и уберём...

– Афанасий Иваныч, времени у меня много, давай помогу снести, – говорю довольный возможностью самому отвлечься и помочь человеку.

– Да чё там... Не надо.

Предлагаю до трёх раз. Два раза отказывается: тяжело, дескать, поздно уже, но я настаиваю:

– Чего там поздно! За два часа до темна управимся. Хоть начнём – меньше потом носить.

До сумерек носим, устанавливаем в омшанике ульи. Опаски никакой – в такой холод ни одна пчела жала не покажет.

До поздней ночи сидим с довольным Афанасием в тёплой кухне. На столе – весь осенний набор. После бутылки самогонки приходит и кураж. В волнах тепла и музыки тоска прячется куда-то в дальние уголки...

В глухой темноте возвращаюсь домой с банкой мёда. Долго по выбеленной от изморози траве впереди качается моя тень, пока внизу у плотины крутой берег не скрывает пылающий на столбе Афонин фонарь.

2 октября 1917 г.

Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда.

В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, другой поразил: XVI в. Борис Годунов... Должно быть, древние люди, правда, не те были!...

7 октября 1917 г.

Сейчас около 12 ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, с великолепнейшими звёздами. Мёртвая тишина... Листва точно холодным мылом протёрта. Земля тверда, подмёрзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала – деревья на валу идут навстречу, а небо звёздное за ними сваливается, идёт вместе со мною вперёд... О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и только звёзды мерцают, тоже затаив дыхание.

Издали, за спиной, вдруг взлетают, отразившись от пруда в темень неба, гармошечные переборы, и крепкий Афонин голос:

Говорят, что я старик,
Только мне не верится:
Да какой же я старик,
Всё во мне шевелится!

Что в душе – не понятно. В короткий день вместились столько всего: утренняя тоска и Бунин, сосны и петушиные бои, пчёлы и Афанасий... Да и что сейчас разбираться...

* * *

Холодным январским днем я шёл в Озёрки, надеясь дожждаться машины в город. Зима, снежная, стылая, своими морозами словно придавила всё вокруг. Даже солнцу не даёт высоко подняться голову, и оно, втянув её в плечи туманного горизонта, торопливо пробегает неширокое мёрзнувшее поле с одного края на другой. Густо заросшие белой шерстью инея, молчат, не шевеля ни веточкой, деревья и кусты. Даже снежное покрывало на земле – и то шерстится иголочками инея. Лишь на сухой ветке старой лозины чуть мерцает от дыхания мороза серебряный огонёк едва колеблющейся блески инея.

В деревне, чтобы не мёрзнуть в ожидании на улице, я постучался в окошко крайней избы, где жила знакомая древняя старуха. Вызвать хозяйку мне помогала собака, сидевшая на цепи за домом и лаявшая всё время, пока я стучался.

– Кто там? – нескоро и беспокойно откликнулась старуха и успокоилась, узнав мой голос. – Отворяй, там у мене не заперто.

Она почти слепа, но слух её чуток.

– А я слышу: собака усё гамит и гамит. Кто-то, думаю, пришёл.

Пока подходила к двери, чтобы встретить гостя, со слепу потеряла кровать, на которой лежала. Сунулась к печке, потом наткнулась на стену.

– Я чевой-то заблудилась. Проводи мене.

Я подвёл её к кровати за печкой, и она легла.

– Ой, мороз-то нынче, – сожалея и вздыхая, сказала она. – Я-то уж и не закрываюсь, боюсь, помру. Кабы до теплушка дожить-то, а там и помереть.

И она с охотой, в который раз стала рассказывать о своих сыновьях и расспрашивать меня. Я убавил громкости у радио, которое бубнило на подоконнике. Старуха замолчала, а потом спросила из-за занавески:

– А ты что: радива притаил? – и одобрила: – ну и так-то, пусть не мешает.

Помолчав, я спросил:

– А молока в деревне не у кого купить?

– Молочка? Да вон хоть у Верёвкиных. У них теперь его много, телёнок-то истратился.

– Как истратился?

– Да как... Они не доглядели, собаки его и съели. С лисами уместе. Их теперь, лис этих, поразвелось! Да и ворон тоже.

Машина в условный час не пришла, и я побрёл обратно, думая о старухе и её дивном языке, в котором столько добра, что, кажется, на нём и ругаться не сможешь.

Подходил к деревне в сумерках, когда в природе оставались только два цвета – серый и белый. Деревья в два морозных дня все взялись инеем. Седая, грузная от холодов зима попрягала, выморозила все краски. Даже ель кажется серой в юных сумерках. И вдруг за ветвями берёз, стоящих за прудом – узкий кровавый мазок зари: короткий, в две-три минуты, успевший до полного истления измениться от ярко-алого до бурого. И пропал... Зашло солнце, притаилось до утра за полем в ночной тьме.

* * *

...есть в этом мире вещи вечные: и берёзовая аллея, и пруды, и бередящие душу горизонты, а главное – чернозём. То есть тот самый мир, в котором зарождался язык, называемый умными учёными людьми языком поэтическим. Голова моя так неправильно как-то устроена, что умные мысли во многих статьях до меня трудно доходят и помнятся слабо. И всегда я им, умным тем головам, пишу статьи на том полурусском по количеству в них слов, по-настоящему завидовал: так гладко всё, так умно... А запомнить – не получается – мимо души проходит. Трудно даже примитивные вещи понимал – как, например, это – «поэтический язык»? Без лукавства! Пока однажды в деревне, когда лопатой копал огород, перетирая ладонями каждый ком задернованной земли, прямо в душе застряло простое, короткое слово «зябь». Господи, да дал ли Ты хоть одному ещё народу такое отношение к земле, чтобы он, почитая Её, одушевляя Её, так сочувствовал Ей, поднятой и оголённой, зябнувшей долгую русскую зиму?! Поэзия, оказалась, совсем не обязательно там, где арфы и мраморные статуи, а где есть место простому, так редко встречающемуся в мире чувству человеческого сострадания. И уж если есть место и даже факт одушевления неодушевлённого, то самая пора задуматься: а что же за разница во временах у нас такая: нынешнего, когда мы землю принимаем за неодушевлённый предмет, и тех пра-времён, когда землю принимали за «зябнущую». И какая же, должно быть, разница между «нами» и «ними»? Ведь в нас же течёт та же кровь, что и в «них», праотцах наших, зябнувших вместе с землёй ещё в доисторических, языческих землянках. Та же кровь, до мельчайших, составляющих её частиц. Кровь та же, и земля та же, а что же тогда случилось с нашими умами?

* * *

16.03.07. Польское

Совершенно удивительное в Далевом словаре: первое слово в нём «Аз», то есть – Я, а последнее – «Үпостась» (ипостась), что означает одну из триединой Божественной сущности. Вот так: от Я до Божественной сути. В Далевом словаре ли дело или таков сам язык русский? И что за загадка в нём, не божественно ли само его происхождение? Да и само Я – в русском языке оно и первое – Я-Аз и последнее в современном словаре. Что же это за Аз-Я такой?

15.03.07. Польское.

Ночь: звёзды ясные, с колючим взглядом, и такие близкие и плотно рассыпанные, что кажется, лай собак отражается именно от них. И висят они на голых берёзовых ветвях, будто запу-

тавшись в них и приморозившись, словно иней. Будто все деревья вокруг дома взяли звёздным поблескивающим инеем, а блеск их – и не свет вовсе, а лишь отражение светящихся оконцев моей избушки. А к утру блеск звёздного инея угас, хоть и темнота всё та же: то ли оттого, что затянулось небо, то ли света в оконцах нет.

* * *

13.03.07 г. Зашел к Ивану. Иван заметно постарел.

– Да вот, Ляксандр, – сижу один. Всё гляжу – нет огонька там, на твоей стороне? Зимой, бывало, выгляну у в окошку – заяц бяжить. Вон оттудова, от тебе выскочить и вон до того кустика перед дубками. Под кустиком сидеть, сидеть. Ушками поводя-поводея, поглядить кругом – и по дубкам подалси кудай-то. За день свои дела поделаить, гляжу – обратно дубками энтими бяжить. Опять под кустик свой сидеть, оглядится, ушками поводя – и опять к тебе подалси. Так я за ним, за энтим зайчиком, года чатыри усё наблюдал. А потом убили зайчика... Охотники убили.

Постарел Иван. Поредели тёмные волосы на голове, натянулась кожа на лице:

– А чаво ж, годы-то летять... Часы идут, дни бягут, а годы лятять. Так вот, Ляксандр, и уся жизнь.

Вечером занёс Ивану хлеба. Остановился на пороге: в избе у него едва ли чуть теплее, чем на улице. Он, оказывается, сожжёт одну, посильную для него закладку дров – и всё.

– Так ты топил или не топил?

– А как жа! Вон, догораить уже.

– А не холодно тебе? Ночь же ещё...

– Да чего ж холодно, духу-то вон не видать, – и дышит вверх, показывая, что «духу нет». Да-а, тепло в избе такое, что только-только пар от дыхания не идёт. Дыхание-то, действительно от слова «дух». И тут я со стыдом задумываюсь о своём брэнном, но таком изнеженном теле. И как же вынослив русский человек!

– Да ведь я дровами-то теми, что Юрка привёз, дубками энтими, и не топил ещё.

– А чем же ты топил?

– Да так, усю зиму кой-чем, ветошью разной.

Вот так и живёт русский человек с мыслями – «на потом». У него ведь всё про запас, а не сейчас. Бережлив, и всё думает, что как ни худо сейчас, а будут времена и похуже наших. Оттого и бережёт.

* * *

12. 03.07 г. Иван – о чужих дровах, что ещё по осени возле его избы свалили «для дачников»:

– Да пусть ляжать, они места не проляжать.

Из кучи чурбаков не взял ни одного, хоть и говорили ему – бери. Топил щепками и хворостом. Места не пролежат – это обо всём, что в жизни не мешает. Человек тоже может быть таким: «Ну, есть – и есть, места не пролежит».

* * *

2. 11. 05 г. Вышел ночью на улицу. Тишина – словно чёрный хрусталь. Слышно даже, как по вымороженным листьям пробежала у пруда мышь. Дремучая, тяжкая, но чуткая тишина.

13.01.06 г. Связь понятий «Земля» и «Культура» ещё более ближе и понятней, когда думаешь о днях нынешних. Сколько, если заглянуть в историю нашу понятий о земле, применительно к тому, как человек относился к ней (связано с деятельностью человека): пустошь, починок, залежь, перелог, пары, зябь, новина, целина, дернина...

У Даля:

«Перелог» – поле, покинутое для перелёжки, в трёхпольном хозяйстве это пар, перенина, паровое поле (на несколько лет). Но в 8–10 лет перелог **дернеет** и тогда зовётся целиной, непашью, новиной, хотя новиной, непашью в строгом смысле зовётся за людскую память непаханая земля.

Парь – залог, залежь, паренина, паровое поле, перелог, тутем, толока. В трёхпольном хозяйстве пар бывает однолетний, а в переложном – многолетний.

Пустошь – незаселённая земля, дальний от селения особняк, участок того же владельца, но не входящий, по дальности своей, в надел; покинутые надолго из-под сохи поля, залежь, покосы из-под пашень.

Починок – начало или закладка новой пашни в лесу, а с него и заселения, росчисть, чищоба, чисть, росчистка, кулига, кулижка, посека, огнище, пожег. Но и выселок, новосёлки, выселки. Это коренное русское хозяйство, починковое, расчистка и выжог в лесу, и эта почва дает 3-4 хороших урожая; по мере стеснения людностью, из селения начинают выселяться на починки».

Так вот: брошенная от возделыванья, культурного земледелия земля мгновенно зарастает бурьяном, словно ждущим этой обработанной, лёгкой для всходов, но брошенной земли. А на брошенной от народного искусства, традиций, вырастает бурьян бескультурья, сухостой попсы и шоу-бизнеса, никакого отношения к культурным посевам не имеющий. И забивает, засоряет плодородную почву. Но – вот что главное. В природе 8-10 лет – и земля задерновывается, изводит сорняки и ждёт плуга, набираясь силы. Сколько же времени нужно России, чтобы её земля вывела сорняки шоу-пустоцвета?

* * *

Взялся перечитывать «Тёмные аллеи» из профессиональных соображений: в театре мне дали посмотреть предлагаемый им сценарий спектакля по мотивам этой книги. Сценарий мне не понравился, и я решил перечитать Бунина, чтобы понять – почему? Между бунинских строчек стали приходиться ко мне иные мысли и совсем по другому поводу. Оказывается, именно там, в белом поле-промежутках строк бунинских рассказов, между стандартными буквами, идёт жизнь. С настроением, с запахами, звуками, с тлеющим закатом; и дело всё именно в этом ритме молчания белого пространства между буквами, в нём-то как раз и свершается всё главное для любого читающего. А в

буквах, складывающихся в слова и предложения, мы лишь утверждаемся в своих догадках и радуемся этому до восторга или тихой сердечной грусти.

Наше время показывает, как много и стремительно плодятся сценариев и книг, забитых буквами. А потом эта густая буквенная серо-чёрная масса заливается в теле-аквариум, в котором тоже кишит что-то страшно-безразличное, бесконечное, однообразное – сериалы. Но в этом кишении героев-бактерий-палочек нет никакой жизни. И я думаю – отчего? И если даже дело не в днях, (а оно, конечно в них!) – пусть не в них; пусть все эти авторы-сценаристы-писатели-режиссёры-актёры искренне захотели бы показать жизнь, на которую откликнется живая тёплая душа, – нет! – не смогут они теперь сделать этого. А почему? Потому, кажется мне, что за стерильными, дистиллированными словами, которыми забито всё нынешнее кино-и-литературное пространство, за бесконечными мельканиями и суетой нет времени на паузу, тишину. Ту самую тишину, в которой идёт тихий дождь, а после него парит земля и пробивается сквозь униженные каплями ветки мокрое оранжевое солнце. Нет ни сырого тёплого запаха земли, ни прелого запаха сена... Ничего нет. Нет тихих мягких шагов девушки, поднимающейся в сумерках по деревянной лестнице в мезонин с раскрытой книгой в одной руке и яблоком в другой. Нет, нет и нет. Ничего этого сегодня нет оттуда, извне, из того, что нам показывают, о чём пишут. А внутри каждого из нас оно есть. Пусть в малых количествах. Бунинское пространство за словами подсказывает нам это запахами, звуками, напоминает каждому о том его сокровенном, что есть у всех, но у каждого своё: то, от чего щемит сердце.

* * *

18.01. 02 г. Одинокий вечер в деревне накануне Крещения. Сажу у печки с открытой заслонкой. Дрова прогорели, лежат выгоревшие тела двух поленьев: большое из угольно-чёрных прожилок подёрнуто седым пеплом, внутри него – тихий аспидный огонь. Меньшее – алое с чёрным налетом, изнутри по нему волнами пробегает белый огонь, будто вода по прозрачному шлангу.

* * *

13.12.02 г. В деревне последнее время бываю налётами, и лишь на часок захожу проведывать мой остывший маленький домик-сироту. В него два месяца назад залезал какой-то бомж; всё в нём было перевёрнуто и затоптано, и лишь за два часа он будто бы обрёл прежний порядок, но это только внешне, а по внутреннему ощущению – как у человека, вышедшего из тюрьмы: вроде бы всё тот же он, но висит-тянет его понятие «судимый». И сколько же теперь мне потребуется тепла и внимания к дому, чтобы отогреть его?..

* * *

23. 03. 03 г. Мартовским днём я добирался до деревни, сменить хворавшего сторожа Ваську. Февраль был тихим, совсем тёплым, а март завьюжил, завернули и морозцы. До Озёрок дорога была прочищена, но автобуса по какой-то причине не было, и я его не стал ждать – пошёл пешком. Дальше, до деревни, в поле, намело сильно – сугробы, перемёты, и я зашёл за лыжами, которые оставлял в крайней избе у бабушки Воиновой, Васькиной матери.

– Вот, усё ляжу, – говорит бабушка, маленькая, утонула в кровати. Лежит одетая, приподнимает, чуть разводя, руки. Пальцы натруженных ладоней неестественно согнуты вбок, похожи на птичьи лапки. – Ой, ды какая же старость большая! Муж помер, я уж думала – и я туда же. Скольки детей подняла, да схоронила. Ляжу вот, думаю: зимой – ладно – помирать бы не надо, а вот весной-то, када тепло – хорошо бы уж и помереть.

Она трёт свои слепые глаза и вдруг что-то вспоминает и сразу оживает:

– Тут вот радива как-то говорила... Там, под Ельцом, Казинка какая-то есть...

– Есть такая, – подтверждаю я.

– Так там, говорят, старушка живёт, ей сто второй год. Так?

– Так, – киваю я.

– А мне восемьдесят шестой толька.

– Сколько?

– Восемьдесят шестой, говорю. Так она ж ещё и корову держать. Ходя за ней, усё сама дела. Соседи, правда, помогают, а так – усё сама, усё сама. Молодец какая, баушка-то. А за мной Витька, сын, ухаживаит. Слава Богу, приходит, печку топить. А то уж дюже холодная зима нынче, ноги-то стынуть. А Васька вон у Польской, у сторожах у Комарова, дай Бог яму здоровычка. Ты уж наладился у Польскую идтить?

– Вот я ему на сменку и приду. С неделю побуду, а Ваську отпущу. Он к тебе, бабушка, придёт.

– Вот и ладно. Дров с Витькой напилють. Так-то он ласковой, внимательной, толька вино его любить. Он – вино, а она – яво. Ну, иди с Богом.

* * *

14 января 09. Утро, солнце, морозец совсем небольшой – и я подумал, что лучше времени сходить в Осиновые Дворы не найти. Причиной моей пешей прогулки в Осиновые Дворы – деревню, часто упоминаемую Буниным в дневниках, как один из объектов его прогулок, было то, что неделю назад ко мне в деревню из Москвы приезжал мой приятель, и, ведомый мною по мобильному телефону, всё же проскочил Озёрки и отозвался звонком лишь возле знака «Осиново» при дороге, что весьма удивило, но и заинтересовало меня; со слов местных мужиков я знал, что Осиново совсем опустело и в нём вот уже который год никто не живёт. Тогда откуда при въезде в нежилую деревню со стороны Озёрок, на грунтовой дороге мог появиться дорожный знак, больше говорящий для нас не столько о названии села, сколько о его существовании как жилого?

Всё это пробудило во мне интерес, да я и сам давно хотел прогуляться в ту деревню, в которой не был лет пять. Выпив с утра только кружку чая, я засобирался идти, благо – сборы были короткими: фотоаппарат, якутский нож в ножнах да перчатки. И я побрёл – мимо лающих климовских собак, по заросшей дороге – вверх, за деревню, по чьим-то следам – не Алексея ли Васильевича, часто бродящего по окрестностям деревни и срезающего молодые ветки для своей единственной козы: и для него прогулка, и козе польза. До задней межи деревенских картофельных полей его следы не дотянули – свернули по огородам в сторону Алексея Васильевича, мой же путь был дальше. Я перебрёл забитый снегом бурьян от задней межи до дороги, и вышел в поле, к водокачке. За малым числом жителей тропка к водокачке заматается быстро, и протаптывается сторожем Анваром лишь раз в неделю, а то и реже – много ли нужно воды трём человекам, живущим в деревне, к которым в последние две недели прибавился ещё и я, успев за это время опорожнить бак воды в 70

литров. Но бочка при водокачке весьма внушительна по объёму для трёх-четырёх человек, да кроме неё есть ещё и запасная бочка, стоящая в пяти шагах и ждущая своей очереди заменить старую, не раз залатанную и перевернутую на бок, чтобы из проржавевших дыр не текла вода, накаченная из скважины.

От бочки мой путь лежал по полю. Когда-то, лет пять назад, здесь была дорога, даже обозначенная на картах, как внутрирайонная, двумя линиями. Теперь это – паханое поле, и потому следов дороги не осталось и в помине. Иду по ориентиру – на начало от вершка, обозначенного мысом бурьяна, выдающегося в поле, – в бурьян я решил не заходить, в нём снег наметал сугробы, а, кроме того, в нём поднимались – сплошь – стылые кочки кротовых холмиков, по которым нет никакой возможности ходить. Путь до Осинова оказался долгим – в полтора часа, несмотря на небольшое расстояние в четыре-пять километров. Уже подходя к Осинову, кроме частых лисьих и заячьих следов, увидел и кабаньи. Они были свежими. Похоже, что здесь проходило их целое семейство – пять или шесть кабанов. Разглядывая эти следы, идущие слева вдоль дороги, по которой я шёл, я не сразу заметил бегущего по полю кабана. Он бежал шагах в двухстах справа от меня в сторону Осинова по верхушке открытого поля, и мне хорошо была видна его тёмная глыба, мелко семенящая ногами по распаханному под зиму полю. Чёрный пёс, прибудившийся ко мне неделю назад и, пользуясь тем, что я его не гоню и живший в моём сарае, всю дорогу бежал за мной – след в след, изредка отвлекаясь на следы заячьей лёжки или мышинный запах. Не знаю, как бы отреагировал он на кабана, довольно долго и неторопливо бежавшего у меня на виду, но пёс был занят своими собачьими заботами. Да даже не будь он занят, он вряд ли увидел бы кабана из-за малого своего роста, а довольствовался лишь запахом кабаньих следов, шедших вдоль дороги. Я приложил ладонь к следу самого крупного кабана, и она едва смогла закрыть его. Пока мы с собакой занимались – каждый по-своему – исследованием кабаньих следов, кабан добежал до лозин, стоявших по огородным межам Осиновых Дворов, и его чёрная округлая спина скрылась в бурьяне.

Мы уже подходили к деревне. Огородные границы в ней обозначались густыми межевыми зарослями, однако дорога свернула не к ней, а так и пошла прямо, обходя брошенные огороды и оставаясь невидимой за разросшимися зарослями вётел и акатника. Лишь изредка в прогалинах между ними виднелись полуразвалившиеся стены домов. Так и прошли мы за огородами всю деревню; два санных и один машинный след вывели нас к другому краю Осиновых Дворов, и там я, действительно, увидел белый знак-указатель с надписью «Осиново», стоявший на обочине насыпанной, асфальтированной дороги, идущей из райцентра. Удивительно было то, что дорога была прочищена до самых домов и заканчивалась, пройдя по деревне сотню метров тупиком в виде оставленного бульдозерным ножом снежного тупика. Дальше, по самой деревне, вдоль пустых домов, шёл только одинокий санный след, теряющийся в снежном безмолвии между полуразрушенными домами, стоящими в зарослях клёна. Я сделал два шага за этот снежный барьер и остановился на снежной целине, бывшей когда-то дорогой.

Слева овраг глубоко спускался к северу, к такому же глубокому оврагу, выходящему к нему с востока. Внизу ещё виднелись следы плотин и остатки полупущенных прудов; на взгорке, за оврагами, взбирался берёзовый лес, поднимавшийся до самого горизонта, и оба оврага, стекаясь, уходили глубоким каньоном в такой же лес. Вся деревня, не теснясь и отступив от оврагов, глядела пустыми глазницами окон на этот прекрасный вид. А окраины леса, уже несколько лет не зная обозначаемых распашкой полей границ, выбежали на брошенную пашню, и устремились к деревне: пройдёт десяток-два лет, и лес войдёт своим любопытным и вездесущим молодняком в саму деревню, а спустя полсотни лет от деревни не останется и следа – редкие ямы-провалы на месте подвалов, подобно встречаемым и ныне в молодых лесах, укажут любопытному охотнику, что и здесь стояла когда-то деревня, и по найденной в одной из ям, на месте сваливаемого хозяевами мусора, или характерной бутылке, определит, что и здесь жили люди на исходе XX века. И удивится тому, как мало нужно времени, чтобы так быстро исчезли, затянулись видимые следы человеческого обитания в таких глухих и непроходимых дебрях молодого, никем не саженого леса.

Назад домой я пошёл другой дорогой, не желая возвращаться прежним путём, да и совершенно чистая асфальтовая дорога, идущая из несуществующей деревни Осиново, была мне по-

что по пути, по крайней мере, можно было пройти легко, без снежных заносов и не искать твёрдой дороги, пару километра из предстоящих мне шести-семи, а там свернуть к знакомым сосенкам и тогда, уже по знакомому пути, неспешно и не боясь сбиться с пути, дойти до дома. Два дня назад я слышал с этой стороны далёкие торопливые выстрелы – должно быть, охотники видели верную добычу и стреляли по ней. Множество встреченных мною кабаньих следов и убитый четыре дня назад кабан, которым хвалились моему соседу местные охотники из числа милицейских работников, и оттого пренебрегающих запретными щитами, предупреждающих прямо у дороги на то, что эти уголья находятся под охраной, – всё говорило и об обилии здесь дичи. Но, верно, не всем и не всегда везло в охоте, а, может, и разгорячёнными припасёнными бутылками, они были не столь внимательны, чтобы приметить дичь – оттого, сохраняя желание всё же непременно попасть в какую-нибудь цель, они в конце охоты, уже на асфальте, упражнялись в меткости на стоящем у обочины километровом знаке. Пробитое в нём отверстие говорило о том, что заряд был предназначен на крупную дичь, что стреляли со стороны деревни, и то, что эта цель была последней, потому и нельзя было её пропустить.

Пройдя ещё с километр и примеряясь, как ближе пройти к своей деревне, я решительно свернул влево и через овраг, уже не считаясь ни с глубиной встречающихся мне на пути оврагов, ни с крутизной их склонов пошёл прямо на знакомую мне темнеющую сосновую рощу. Сверху на освещённых солнцем склонах оврагов были хорошо видны следы. Их было множество – лисьих, заячьих, мышиных. На самой бровке противоположного склона оврага, куда я поднялся, следуя прямо по лисьей тропе, была лёжка той самой лисы, по следам которой я шёл; в углублении снег был плотным, подтаявшим – видно, лиса лежала здесь долго и, когда я обернулся в сторону, с которой я шёл, я оценил её охотничью позицию как НП – настолько хорошо было видно всё: и противоположный склон, и весь овраг сверху донизу. Лёжка её, видно, была неслучайной – следы к ней вели с четырёх сторон.

Сосновый лес встретил меня знакомым шумом, смешанным запахом плавящейся на солнце смолы и, почти выветрившимся за пять лет – гари от прошедшего тогда пала. От края соснового леса на меня приветливо глянули знакомые домишки окраины моей деревни.

19.01. 2001 г. Сижу один в деревенском доме. Зашёл сосед, Новиков. Сел на табуретку у порога, дальше не прошёл. Рассказывал о хозяине, что жил в моём доме. Спрашиваю:

– А как его звали – не знаешь?

– А как же! Знаю! Кузьма Егоров. Ох, он и мастер был, мужик етот.

– А избу он сам строил?

– Сам! А как жа! И усё один: и кирпичи клал, и осинки на себе носил, – вон, из лесу! Усё камни копал, там, игде ёлки. А дом тута был деревяннай. Мы в нём ребятишками скока раз были! Жена у ево была баба никудышная. Парализованная, что ли...

– И не ходила?

– Да нет, ходила, чуть тольки. её слушаем. Она сказок энтих знала! О-о! И про змей етих каких-то, и про чудеса разныя. Понарасскажет стока! А мы ночим идём у в обратна, друг к дружке жмёмся, по сторонам глядим. Боимся! Он то, Кузьма Егоров, мастеровой был, а она никудышная. Она его точила-точила, он от её и уехал.

– Как уехал?

– А вот так! Усё бросил, как было, – и уехал у Ефремов. Там с какой-то сошёлся.

* * *

Весна. Апрель. Была луна полная, при ясном ночном морозце и дневном ветре, да пошла на убыль, а стихли ветра, затянулось небо, заплакало, – и потеплели-потемнели ночи. Сажу у окошка, дышу мокрой весной, гляжу на берёзу. Летом берёзовая рощица под ней будто девичья шеренга; тёмные сапожки, белые сарафаны, зелёные платочки. Мои берёзы у калитки – две вдовы, у одной горе горше, она темнее и морщинистей. Берёзы-берёзы, отчего вы плакучие? Мимо не пройдёшь по тропинке – свисают с них, льются тонкие струйки слёз-веточек. К апрелю они покраснелись, будто невидимое заревое солнце облило их своим светом.

* * *

9 мая 03 г. В Петрищевом, после концерта с поздравлением ветеранов, в столовой праздничное застолье. Михаил Иванович сидит в застольной суете спокойный, прямой, возле него и рюмки нет.

– Миш, а водочки капельку? Чутьочку.

Шурочка, жена его, чуть не вскрикивает, вступается:

– Ни-ни! Ему нельзя!

Михал Иванович наливает себе в стакан минеральную:

– Нет, я теперь – водички, – чокается ей – он «в завязке». – По чутьочке не получается, развяжусь.

Отпивает глоточек воды, ковыряет котлету.

– Раньше-то как было, в перестройку? Водка по талонам – и то нет. Утром после вчерашнего лежу дома. На дворе посевная, а сеялка сломалась. Кроме меня, никто не наладит. Заходят бригадир и председатель:

– Здорово, Михал Иванович!

– Да где ж здоров – подыхаю...

– От вина?

– Да не от вина, а от того, что его нету...

– Никак не можешь?

– Нет, даже не встану теперь. Точно помру к вечеру – дома-то ни капли.

Ну, они сходили, гляжу – литр приносят. Я пару стаканов принял, встал и за полтора часа сеялки им наладил. А так бы помер.

* * *

17.07.03 г. Собрал в деревне ведро смородины, утром побежал на автобус. В Озёрках на остановке стоят две бабки, тоже ждут автобус. Тепло, но они по-старушечьи в пальто, войлочных

ботинках, с палочками. Ночью в Польском гроза минут двадцать так плотно метала молнии по самой деревне, что даже свет погас.

– Ой, ды усё залило... – это одна бабка на первую вечную тему – о погоде.

От домов отделяется мужик, деля попытки подойти к нам, но со вчерашнего он ещё не отошёл. Его качает и заносит в сторону, и тогда он перестаёт сопротивляться и идёт туда, куда его несут ноги. Вторая бабка – на другую, не менее вечную, тему:

– Глянь... Серёжке опять мало. Пошёл искать. Залил по самые шары, а усё никак не напьётся. Ня знай, как яво Галькя терпя стольки лет, – и, вздыхая, говорит, думая уже, наверное, о своём:

– Мужик-то: худ плетень, да всё ж – затишка.

И первая бабка следом кивает:

– Без мужика-то худо...

10 сентября 2003 г. По телевизору идёт какой-то фильм под грифом «Народное кино». Видимо, думают, что надо быть ближе к народу или народу именно такое кино нужно. И что же это «народный» фильм? Что-то по «антуражу», по песням за кадром и, где-то, по костюмам-причёскам – 60-е годы, раннебрежневское время. И только. Лишь внешне. А изнутри – ни характер поведения, ни выражения лиц и языка – ничего общего с заявленным временем. Что-то в нас настолько изменилось, что наглость нашего времени вьелась во все поры не только тел, но и, кажется, предметов. Вот и думаю: что отличает всех нас, представителей нашего времени от нас же или наших отцов лет сорок назад? Что? – цвет глаз, волос, антропометрические параметры? Нет. Что-то внутреннее, содержание, которое облекается формой и приобретает невольно его очертания.

Мы-они 40 лет назад были *совестливее*. Не было прежде в нас-них той наглости, безразличия, чёрствости, что впитались с энергетикой телевидения, вируса разобщённости в жизни, ежедневной бесстыжей жёлтой краски преследующей нас печати. Понимаю: изменения неизбежны. Но почему же в сторону алчности, равнодушия, потери стыда? Ведь если элитный саженец посадить в хорошую почву, но поливать его соляжкой – не будет плодов, да и дерево завянет. Каково-то нашим детям – мы их, словно саженцы, – ведром воды, а жизнь – бочкой соляжки «сдабривает».

13 октября 03. Польское. Полночи и почти весь день шёл дождь. В деревне после летнего гомона птиц, лягушек и кузнечиков – тихо. Сыро, но не холодно. После недельных ураганных ветров, кажется, необычно тихо. Небо висит как грязная промасленная ветошь. А неделю назад огромная бесконечная туча грязным тяжёлым брюхом словно придавливала, пригнетала и деревья, и травы, и крыши над прижавшимися к земле деревенскими домами, гнала и бросала птиц, словно тёмные листья с деревьев.

В поле тихо, сыро, чуть слышен шорох в подрагивающей от мелкого дождя траве. На тёмной стене леса алмазными нитями блестят на полудужьях трав дождевые капельки. То, что подойдишь к лесу, можно догадаться и с закрытыми глазами; шум дождя становится объёмным, слышимым отовсюду. Замшевая зелень мха на стволах, тёмных, почти чёрных. Тонкие длинные ветки черёмухи внизу оврага, густо заросшего лесом – словно из малахита, зелёного, с чёрными точками и прожилками.

Старая, заросшая дорога, едва приметная за упавшими стволами деревьев и молодой поросли засыпана чёрно-пепельными листьями ольхи. Жёлтые листья в этом кострище особенно яркие и неожиданны. Взяв один из листьев осины, невольно взглядываю на пальцы – нет ли следов от пепла, – до того тлен осени похож на огненный, только огонь обугливает мгновенно, а от тлен – постепенно. Всё истлевают от этих двух стихий. Время – та же стихия, в этом смысле малозаметная, только по его истечению замечаемая. Вот и столбик стоит у едва приметного края лесной дороги. Тронул его – он и упал. Дубовый. На врубке краской надпись – «Кв. 72. 1983 г.» За двадцать лет ду-

бовый столб сгнил. Лес внизу оврага поредел, открыв спины замшелых, сглаженных мхом и травами камней.

Чуть выше ямы, из которой на восточном склоне все деревенские берут глинистый песок на замазку печей – две барсучьи норы. Выброшенный из них песок засыпал лежащие листья – значит, норы свежи и обитаемы...

* * *

10 ноября 03 г. Ехал автобусом в Озёрки. Над Петрищевом небо, словно старая шершавая доска с вылинявшей голубой краской на ней, а сверху её словно насухо вытирали кисть от красной краски. В Озёрках небо дотлевало тихо, жёлто, а в Петрищевом ещё казалось – подуй ветер – и снова раздует огонь, подпаливший края облаков, и сожжёт их; теперь же на закате лишь отблески умирающего светила, и ничем уже не разжечь его.

Между озёрскими и польскими берёзками дорога разбита, стоящая в колеях замёрзшая вода светится так же, как и небо, от этого чёрная в сумерках земля кажется плоской и тонкой, пробитой дырками светлых луж. В самой деревне, посреди неё – пруды, две огромные пробоины в плоской, как лист, земле; тусклые, холодные со сквозными провалами неба под ногами. В аллее с берёз, тяжело прошелестев в верхушках ветками, метнулись в сторону поля две огромные тени – это совы дождались полной темноты и вылетели на охоту.

* * *

11 ноября 03 г. Ночи полнолуния. К восьми вечера сгустившиеся сумерки побледнели. Выходила луна. За облаками её присутствие определялось идущими из-за них светом. К полуночи её серебряный диск набрал полную силу света, её начищенного блеска не могли скрыть даже облака. У земли тихо, никакого движенья воздуха, облака же, прозрачные, тихие, как привидения, быстро летели к югу, и их края в ореоле лунного сияния были охристы, как опалённые рваные листки бумаги. Этим тихим светом, словно молоком, было залито всё вокруг и ясно видно от мельчайшей травинки до гребня берёзовой полосы на краю поля. Бело, тихо, молочно, ясно, волшебно, чуть морозно. Писал допоздна и заснул около 3-х, а когда проснулся – в окна заглядывало молодое яркое утро. Я вышел на крыльцо. За ночь морозец так выбелил всё вокруг, что казалось продолжением ночного лунного света, только ещё более насыщенного. Всё: и деревья, и трава, и замёрзшие пруды, всё, как и ночью было бесцветным, пепельно-серым и таким же ясным, как и в лунную ночь. Даже взошедшее солнце не загасило блеска лунного диска, гордо висевшего над деревней. В два часа лучи солнца вытопили, согрели и траву, и деревья, и сараи; и всё, несмотря на обнажившееся цвета, вдруг неожиданно поблекло, после праздника, устроенного сбежавшим вслед за луной морозом.

За полдень собрался откуда-то со всех сторон туман, спрятал сначала дальние берёзки, потом чёрное вспаханное поле, сполз к прудам и ближе к вечеру сократил весь видимый мир до плетня и двух соседних домов, за которыми не осталось ничего кроме влажной белой пустоты. Стоящие у дома берёзки дотягивались до неё своими верхушками, и эта тоскливая безбрежная белизна тихо печально плакала, стекая с их листьев крупными слезами на остывшую землю.

12 ноября 03 г. С утра голова тяжёлая – низкое давление. Воздух в доме спёртый. С утра снова туман, к полудню ещё сгустился, стал ближе, с морозом забелил краешки веток. Сходил за водой – руки мёрзнут без рукавиц, кажется, что кровь в пальцах заледенела и изнутри колет пальцы

льдинками. Остановился, отдышав их, отогрев дыханием. Оделся, пошёл за огороды. За сто шагов едва видно. От калды не видно ни сосенок, ни раakit на деревенской меже. Влажный холод с севера, кругом молочно-серебристые тона. Свернул влево, к оврагу. Среди седой травы тёмные полосы – лисьи тропы. Пошёл по одной из них. Оглядываюсь – нет ничего вокруг, ни дороги, ни примет деревни. Не заблудиться бы. След привел меня к краю маленького глубокого отвершка. Перед ним стоит куст шиповника – верно, ни один витринный экспонат самого дорогого ювелирного магазина не выглядит так роскошно: яркие крупные ягоды, почти рубиновые, чуть осыпанные по краям мелкой алмазной пылью изморози, висят на хрустальных ветках. Травы из матового стекла подобны белым кораллам, унизанные новогодним ледяным стеклярусом; чуть тронешь – они позванивают.

По краю оврага – длинный зигзаг оплывших окопов, перед ним большая яма землянки. Вокруг не видно ничего, кроме противоположного склона, круглого на три стороны, как модель земного шара. Спустился вниз, пошёл по дну оврага. Где-то здесь, по рассказам Афони, должен быть колодец. Он оказался неожиданно близко: сначала из тумана выступил серый покосившийся дубовый столб, к нему сверху спускались три лисьи тропы, выдаваемые тёмной травой. Под столбом, в траве темнели дощатые полусгнившие стенки колодца, размером аршин на аршин, в нём блестела зеленоватая вода, чуть подёрнутая ледком. Я наклонился, отодвинул к краю ледяную корку, зачерпнул воду ладонью. Вода оказалась чуть сладковатая и пахла летней утренней травой. У колодца, в тридцати шагах, – молодой раakitовый куст. От него я поднялся вверх, посмотреть – далеко ли до деревни. Оказалось, что недалеко, метрах в трёхстах. У Афоина дома подошёл к колонке, опустил рычаг. В трубе долго шипело, потом плюхнулась ржавая струйка воды, и стихло. Вдали мелькнула фигура Морева с ломом в руках, подходившего к своей колонке. Он постоял возле неё, дожидаясь, пока я подойду, снял рукавицу, поздоровался.

– Есть вода? – спросил я.

– «...» – ответил Морев... В общем, это означало не только, что воды нет, но то, что её нет совсем, нет абсолютно, совершенно нет. Но сказал он это образнее и много короче. Видно, что Мореву скучно, и он утянулся за мной в сторону Чалого, надеясь, что тот вернулся из Озёрок, куда поехал за хлебом. Но Чалый ещё не вернулся. На двери Новикова висел замок. Я поднялся на его крылечко, всунул под замочную дужку пакетик с балалаечными струнами (давно обещал, и пришлось снять со своей балалайки, раз сам назвался) и пошёл назад. Спил у дома берёзовую ветку, путавшуюся в проводах, оттащил её к дровосеке и, глянув оттуда на дом, убедился, что даже такое малое изменение в давно привычной обстановке, как ликвидация малой ветки, способно изменить привычный пейзаж. Жалко, но неизбежно. Как же мы ко всему привыкаем!

* * *

13 января 09 г. Вот уже двадцатый мой январь в деревне. С каждым днём вечер всё отступает к ночи. Солнце расплавилось, разлилось закатом, облило ветки закатным алым светом, и огненным сгустком запуталось в чёрной сети ветвей, будто погожий морозный день расставил ему силки, и не пускает его, укорачивает ночную пору, и всё ждёт завтрашнего ясного рассвета. День коротким воробьиным шажком идёт к лету, и мороз – то налетает на деревню и хозяйничает в ней ледяными ясными ночами, тихо окутывает деревья, землю, пруды своим стылым дыханием, обволакивает всё вокруг белым шерстистым инеем. А то отступит, словно спрячется за далёкими увалами, лесами, заляжет на дно далёких оврагов, и лишь ночами посылает на разведку в деревню малый мороз. А на смену ему откуда-то с юга набежит ветер, и принесёт неведомо откуда словно бы чужое, хмурое небо и влажное тепло – и беспокоит деревья, и метёт по полям неустанно своею силою – и день, и ночь. В такую пору тревожно спится по ночам под таинственные звуки, и всё чудится в полудрёме: то ли ходит по деревне кто-то грузный – огромный и неуклюжий, задевая ветки стылых деревьев и ломая их, то ли ветер тревожит верхушки деревьев и гремит краем оторванного

листа на крыше. И тревожно спится в такие ночи, и всё никак не приходит рассвет, будто уворованный и унесённый серой ветреной непогодой.

В погожий вечер выйдешь на улицу, ещё на крылечке вдохнёшь после дымной избы свежего морозного воздуха, и прохрустишь по снегу до калитки. А как оборотишься в сторону заката, то и выдохнешь: Господи, за что же это счастье мне такое – видеть и этот вечер, и эту усталую, но всё ещё бодрящуюся деревушку с поредевшими разноцветными домишками. И вздрогнет сердце, затамится от короткого счастья – оттого, что во всех их окошках увидишь свет – словно и не отблеск заката, а живой свет, идущий изнутри. И вдруг покажется, пусть коротко, что жива деревня, и что живут в домах их прежние хозяева, и вот-вот задымятся над ними трубы, и войдёт в них тепло.

Долго, медленно гаснет закат, незаметно сменяя живой золотистый цвет на мертвенный голубой, и вместе с ним постепенно блекнут окошки, и тихо, безмолвно, погружается деревня в темноту зимней морозной ночи. Я долго стою, успев озябнуть, и всё ещё надеюсь увидеть и запечатлеть какое-то ясное и определённое проявление границы между сумерками и ночью, и всё не могу дожидаться ни этого момента, ни полной темноты, когда окончательно исчезнет свет и погаснет небо, но вот уже совсем, кажется, исчезли на закатной стороне красные краски, сменившиеся на оранжевую полоску, вот уже и сама эта полоска выстыла, прильнула к самому горизонту, придавленная сверху холодным небом. И всё ещё этот едва уловимый тёплый оттенок держится, истончается, но всё ещё присутствует в перемещающемся к северу светлом пятне. Я оборачиваюсь, чтобы идти к дому, и маленьким тёплым островком в огромном холодном мире кажется и тёплый жёлтый свет в его окошке, и тёплое пятно от него на снегу. А сверху вдруг взглянет на меня острый, холодный глаз мерцающей звезды, запутавшейся в ветвях дуба, стоящего за домом.

* * *

26 января 09 г. Господи! – описать бы только один день в деревне, с его звуками и чудесными, сказочными видами – от рассвета до заката; они ведь разные, дни эти, и никак не понять человеку практичному – отчего Ивану не сойти с ума в такой-то тишине, одиночестве и однообразии – ведь всё одна и та же лампочка горит, когда он лежит и смотрит на неё, думая: А отчего ж и она горит, а не только поленья в печке? И отчего солнца нынче нету? И ... Да так – сто, тысяча вопросов. Выжить в таких снегах, в заваленной хатёнке, может только либо великий философ, либо простой русский мужик, не обременённый заумностями, но глядящий на всё мудро и просто: «Бог дал день – ну и слава Богу!»

Тишина – величайшая в мире роскошь. Я опять в деревне. Опять тишина. Вышел на улицу и обеспокоился: со стороны соседского дома явно послышались какие-то звуки – стук – и я, бросив печку, вышел к нему. Оказалось, вдоль бровки прудов, по-над моими берёзками – лыжный след – широкий, монолитный, словно и не лыжник прошёл, а

какая-то «техника» с узким ходом. Да и собаки с противоположного берега обеспокоенно брехали, и в их лае слышалось, что они кого-то заметили ещё издали. Подошёл к дому, а навстречу, из-под лозин, нависающих над дорогой, вышел охотник в белых одеждах, с торчащим из-за плеч ружьём. Шёл он неспешно, и в нём я сразу узнал Юрку «Будённого», изба которого стоит с той стороны пруда, по правую от меня руку, и которую купил 12 лет назад мой приятель. Продать-то продал, и двадцать лет живёт в Озёрках, но места свои, родину свою малую он не забывает, хоть и не говорит о том открыто, но – видно – скребёт у него на душе, когда проходит он родной деревней и видит старые, заброшенные избы, где жили и его родня, и его друзья, и – а как же без этого – здесь и первые его шаги, и первая мальчишеская любовь. Потому он и остановился возле меня – огромный, весь белый – но от белого цвета ничуть не поменевший в размерах. Снял перчат-

ку, крепко смял мою ладонь, и – первое, что сказал, окинув одними глазами всю деревню, видную отсюда как на ладони и откинув назад, за спину белый капюшон:

– Тишина-то какая...

Тихо сказал, безо всякого пафоса – видно на душе это лежало, под сердцем, вот и высказал. Мы поговорили о деревенских новостях, об Озёрках. Жена его, Зоя Гавриловна, в магазине уже с полгода не работает – ноги «не держат», но она у себя на дому торгует: зайдёшь на верандочку, а тут тебе и хлеб, и консервы, и табак, и водка... И вот гляжу я на него, на «Будённого», – а ведь он не спился, весь в делах домашних, и, по-деревенски – как положено, основательно, без малейшей спешки. Ещё весной, когда открывалась охота, я заходил к ним, к Зое Гавриловне, взять молока, и она на вопрос: А где Юрка? отвечала:

– Так они отмечают первый день охоты. Там где-то, в дубках, с мужиками. Это у них традиция такая.

Традиция. Ну, и выпьет мужик – ну и что? Дела улажены, в доме достаток – что нужно ещё? А охота – она как забава, отдых от бесконечных, надоедающих дел домашних.

Вот и спрашиваю Юрку:

– Ну что, как охота? Есть чего?

– Да есть один?

Кто «один» – понятно, потому и говорю:

– Заяц?

– Заяц.

Дальше этого вопроса я своего любопытства не проявляю, и просить показать не стал – раз сам охотник не показывает, не хвалится, значит, характер такой. Другой, не здороваясь, сразу бы за пояс, да зайца за уши вытащил – похвалиться: ну-ка, глянь, какой! А он – нет. Поговорили о дичи, где какой зверь по следам виден был.

– А вы утром нынче прошли? – спросил он меня. На «Вы» – ко мне. (Ещё выходя из автобуса в Озёрках – а было ещё темно, меня, единственного из выходящих, обступила толпа садящихся ребятишек – старшеклассников – ехать им в Петрищево, и каждый поздоровался со мной. Показалось – не формально, а узнавая почему-то меня – учителя, что ли?) – Я вижу – след. Утрешний.

– Это я с автобуса шёл. Там столько заячьих следов было в поле, а особенно – прямо перед деревней, так целая тропа набита, – говорю я возбуждённо – мне-то это в новинку.

Он кивает спокойно. Видел и то, о чём я говорю, да и много того, чего и я – «не охотник» – не приметил. Он-то вон – зайца подстрелил, а я ни одного даже не увидел.

– Жалко, автолавка нынче не ездит – нет дороги по такому снегу, а я ни Ивану, ни Новикову хлеба не принёс, – жалуясь ему.

– Да не горюй, у меня хлеб есть, я им дам.

Постояли ещё минутку. Он, «Будённый», оглядывая знакомые места, сказал со вздохом:

– Да... Тишина тут... Тишина... – И он неслышно скользнул вниз на своих широких лыжах, к плотине. Поехал проведать Ивана. Слава Богу, не так Иван одинок, как может показаться. Главное – не считать себя единственным благодетелем – люди помнят о нём, и помогают – кто чем может. Да и мимо Ивана ни один хороший человек не пройдёт – зайдёт непременно.

Бочка стоит на своём прежнем месте, у стола, тронулась ледяным потом – там, где налита вода, едва не замёрзшая до льда. Отходит от холода, как от какой-то тяжёлой обиды. Так и человек, которого обидели: долго выходит из него ледяная обида, потом потихоньку начнет слёзками отекать, а потом и согреться станет. Как вода, оставленная в холодной избе.

Все удивляюсь: какая же память у избы хорошая! Вот не был я в ней девять дней - уж и поминать-то меня, верно, она собралась, да я и сам явился! Вот он я – с мороза, жаркий, с болтающим шарфом и тяжеленным рюкзаком за спиной – неужто не примет она такого меня, разгоряченного и радостного от свиданья с ней. Явился – не запылится! Сразу к печке и спичку – чирк: и сухая кладочка дров, оставленная по «таёжной» привычке в печке, мгновенно занялась, затрепетала огнём и, спустя минуту, радостно загудела, полыхнув сквозь чугунные кольца плиты заметавшимся дымком. И изба почти сразу набрала тепло, и успокоилась, будто обрадовалась. Чему? Думаю – моему и своему возрождению. Не зря я мучился ночь, сидя в городе, в кабинете, и так и не прилёт, а всё думал и всё томился желанием, и всё рвался к ним – к деревне, к дому, к печке, вот к этому столу, так похожему на шукшинский в Сростках... Не зря. Они приняли меня – деревня снегами, дом – холодом обиды, печь – радостью общения с ней. И чем чаще с ними видишься и общаешься, тем быстрее они забывают свои тревоги и обиды: деревня, дом и печка... Не будет поминок – будет праздник!

Сельцо Польское, 2000–2010 г.г.